

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

КОНСПЕКТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-ПЕТЕРБУРГ • МСМХСІХ



Найселье Генрихов
с мушкетери бьвеланиями
16. V. 01

С. Гамузовский

Набѣи охотника, Головоломка,
Вся кинтросить в этом, что есть там вяс,
Ручья, Яблони, Пирольская шлейнка
Сетловуно образованной вяс.

Направо ирешно лампу на рисунок
И угол зритель малость илети,
Чейде Троян, Ручья, Пбсумок
Внесайно вилуциии ил итени.

Его на мн ирешунала бунала —
Чуть-чуть беруче, несколько дщети,
Преситунник на свободе, селиталега —
Схочи на кеш, теберь еходи на кеш!
И внове рисунок как вилуваб нексон.
Но было гно-но-перелук малос
Ил ирешороза, вяс, ке. Пблито, есемь —
Безморное, оскешцеа ел селз,

Блмештающе. в ирешковал луке.
Пбс селариковский голон вороме...
И шинке мое была б илущить на хуче,
Но буея ел мое!



Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

КОНСПЕКТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-ПЕТЕРБУРГ • МСМХСІХ

Г 19
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
Сергея Семенова



Опасен майский укус гюрзы.
Пустая фляга бренчит на ремне.
Тяжела слепая поступь грозы.
Электричество шелестит в тишине.
Неделю ждал я товарняка.
Всухомятку хлеба доел ломоть.
Пал бы духом наверняка,
Но попутчика мне послал Господь.
Лет пятнадцать круглое он катил.
Лет пятнадцать плоское он таскал.
С пьяных глаз на этот разъезд угодил —
Так вдвоем и ехали по пескам.

Хорошо так ехать. Да на беду
Ночью он ушел, прихватив мой френч,
В товарняк порожний сел на ходу,
Товарняк отправился на Ургенч.
Этой ночью снилось мне всего
Понемногу: золото в устье ручья,
Простое базарное волшебство —
Слабая дудочка и змея.
Лег я навзничь. Больше не мог уснуть.
Много все-таки жизни досталось мне.
«Темирбаев, платформы на пятый путь», —
Прокатилось и замерло в тишине.



Это праздник. Розы в ванной.
Шумно, дымно, негде сесть.
Громогласный, долгожданный,
Драгоценный. Ровно шесть.
Вечер. Лето. Гости в сборе.
Золотая молодежь
Пьет и курит в коридоре —
Смех, приветствия, галдеж.

Только-только из-за школьной
Парты, вроде бы вчера,
Окунулся я в застольный
Гам с утра и до утра.
Пела долгая пластинка.
Балагурил балагур.
Сетунь, Тушино, Стромынка —
Хорошо, но чересчур.

Здесь, благодаренье Богу,
Я полжизни оттрубил.
Женщина сидит немного
Справа. Я ее любил.
Дело прошлое. Прогнозам
Верил я в иные дни.
Птицам, бабочкам, стрекозам
Эта музыка сродни.

Если напрочь не опиться
Водкой, шумом, табаком,
Слушать музыку и птицу
Можно выйти на балкон.
Ночь моя! Вишневым светом
Телефонный автомат
Озарил сирень. Об этом
Липы старые шумят.

Табаком пропахли розы,
Их из Грузии везли.
Обещали в полдень грозы,

Грозы за полночь пришли.
Ливень бьет напропалую,
Дальше катится стремглав.
Вымостили мостовую
Зеркалами без оправ.

И светает. Воздух зябко
Тронул занавесь. Ушла
Эта женщина. Хозяйка
Убирает со стола.
Спит тихоня, спит проказник —
Спать! С утра очередной
Праздник. Все на свете праздник —
Красный, черный, голубой.



Будет все. Охлажденная долгим трудом
Устареет досада на бестолочь жизни,
Прожитой впопыхах и взахлеб. Будет дом
Под сосновым холмом на Оке или Жиздре.
Будут клин журавлиный на юг острием,
Толчая снегопада в движении Броуна,
И окрестная прелесть в сознание моем
Накануне разлуки предстанет утроена.
Будет майская полночь. Осока и плес.
Ненароком задетая ветка остудит
Лоб жасмином. Забудется вкус черных слез.
Будет все. Одного утешенья не будет,
Оправданья. Наступит минута, когда
Возникает вопрос, что до времени дремлет:
Пробил час уходить насовсем, но куда?
Инеродная музыка волосы треплет.
А вошедшая в обыкновение ложь
Ремесла потягается разве что с астмой
Духотою. Тогда ты без стука войдешь
В пятистенок ночлега последнего:

«Здравствуй.

Узнаю тебя. Легкая воля твоя
Уводила меня, словно длань кукловода,
Из пределов сумятицы здешней в края
Тишины. Но сегодня пора на свободу.
Я любил тебя. Легкою волей твоей
На тетрадных листах, озаренных неярко,
Тарабарщина варварской жизни моей
Обрела простоту регулярного парка.
Под отрывистым ливнем лоснится скамья.
В мокрой зелени тополя тенькают птицы.
Что ж ты плачешь, веселая муза моя,
Длинноногая девочка в грубой рубахе!
Не сжимай мое сердце в горсти и прости
За оскомину долгую дружбы короткой.
Держит раковина океан взаперти,
Но пространству тесна черепная коробка!»



Вот наша улица, допустим,
Орджоникидзержинского,
Родня советским захолустьям,
Но это все-таки Москва.
Вдали топорщатся массивы
Промышленности некрасивой —
Каркасы, трубы, корпуса
Настырно лезут в небеса.
Как видишь, нет примет особых:
Аптека, очередь, фонарь
Под глазом бабы. Всюду гарь.
Рабочие в пунцовых робах
Дорогу много лет подряд
Мостят, ломают, матерят.

Вот автор данного шедевра,
Вдыхая липы и бензин,
Четырнадцать порожних евро-
бутылок тащит в магазин.
Вот женщина немолодая,
Хорошая, почти святая,
Из детской лейки на цветы
Побрызгала и с высоты
Балкона смотрит на дорогу.
На кухне булькает обед,
В квартирах вспыхивает свет.
Ее обманывали много
Родня, любовники, мужья —
Сегодня очередь моя.

Мы здесь росли и превратились
В угрюмых дядь и глупых тетъ.
Скучали, малость развратились —
Вот наша улица, Господь.
Здесь с окуджававской пластинкой,
Староарбатскою грустинкой
Годами прячут шиш в карман,
Испепеляют, как древян,
Свои дурацкие надежды.

С детьми играют в города —
Чита, Сучан, Караганда.
Ветшают лица и одежды.
Бездельничают рыбаки
У мертвой Яузы-реки.

Такая вот Йокнапатофа
Доигрывает в спортлото
Последний тур (а до потопа
Рукой подать), гадает, кто
Всему виною — Пушкин, что ли?
Мы сдали на пять в этой школе
Науку страха и стыда.
Жизнь кончится — и навсегда
Умолкнут брань и пересуды
Под небом старого двора.
Но знала чертова дыра
Родство сиротства — мы отсюда.
Так по родимому пятну
Детей искали в старину.



Дай Бог памяти вспомнить работы мои,
Дать отчет обстоятельный в очерке сжатом.
Перво-наперво следует лагерь МЭИ,
Я работал тогда пионерским вожатым.
Там стояли два Ленина: бодрый старик
И угрюмый бутуз серебристого цвета.
По утрам раздавался воинственный крик
«Будь готов», отражаясь у стен сельсовета.
Было много других серебристых химер —
Знаменосцы, горнисты, скульптура лосихи.
У забора трудился живой пионер,
Утоляя вручную любовь к поварихе.

Жизнерадостный труд мой расцвел колесом
Обозрения с видом от Омска до Оша.
Хватишь лишку и Симонову в унисон
Знай бубнишь помаленьку: «Ты помнишь, Алеша?»
Гадом буду, в столичный театр загляну,
Где примерно полгода за скромную плату
Мы кадили актрисам, роняя слюну,
И катали на фурке тяжелого Плятта.
Верный лозунгу молодости «Будь готов!»,
Я готовился к зрелости неутомимо.
Вот и стал я в неполные тридцать годов
Очарованным странником с пачки «Памира».

На реке Иртыше говорила резня.
На реке Сырдарье говорили о чуде.
Подвозили, кормили, поили меня
Окаянные ожесточенные люди.
Научился я древней науке вранья,
Разучился спросить о погоде без мата.
Мельтешит предо мной одиссея моя
Кинолентою шосткинского комбината.
Ничего, ничего, ничего не боюсь,
Разве только ленивых убийц в полумасках.
Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь
С Божьей помощью в придурковатых подпасках.

В настоящее время я числюсь при СУ-206 под началом Н. В. Соткилавы. Раз в три дня караульную службу несую, Шельмоватый кавказец содержит ораву Очарованных странников. Форменный зоомузей посетителям на удивленье: Величанский, Сопровский, Гандлевский, Шаizzo — Часовые строительного управленья. Разговоры опасные, дождь проливной, Запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной Чернокнижников Кракова и Саламанки.

Здесь бы мне и осесть, да шалят тормоза. Ближе к лету уйду, и в минуту ухода Жизнь моя улыбнется, закроет глаза И откроет их медленно снова — свобода. Как впервые, когда рассчитался в МЭИ, Сдал казенное кладовщику дяде Васе, Уложил в чемодан причиндалы свои, Встал ни свет ни заря и пошел восвояси. Дети спали. Физорг починял силомер. Повариха дремала в объятых завхоза. До свидания, лагерь. Прощай, пионер, Торопливо глотающий крупные слезы.



Еще далёко мне до патриарха,
Еще не время, заявляясь в гости,
Пугать подростков выморочным басом:
«Давно ль я на руках тебя носил!»
Но в целом траектория движенья,
Берущего начало у дверей
Роддома имени Грауэрмана,
Сквозь анфиладу прочих помещений,
Которые впотьмах я проходил,
Нашаривая тайный выключатель,
Чтоб светом озарить свое хозяйство,
Становится ясна.

Вот мое детство
Размахивает музыкальной папкой,
В пинг-понг играет отрочество, юность
Витийствует, а молодость моя,
Любимая, как детство, потеряла
Счет легким километрам дивных странствий.
Вот годы, прожитые в четырех
Стенах московского алкоголизма.
Сидели, пили, пели хоровую —
Река, разлука, мать-сыра земля.
Но ты зеваешь: «Мол, у этой песни
Припев какой-то скучный...» — Почему?
Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных
С дурашливым щенком на поводке
Под зонтиком в пальто демисезонных
Мы вышли наконец к Москва-реке.
Вот здесь и поживем. Совсем пустая
Профессорская дача в шесть окон.
Крапивница, капризно приседая,
Пропархивает наискось балкон.
А завтра из ведра возле колодца
Уже оцепенелая вода
Обрушится к ногам и обернется
Цилиндром изумительного льда.
А послезавтра изгородь, дрова,

Террасу заштрихует дождик частый.
Под старым рукомойником трава
Заляпана зубною пастой.
Нет-нет, да и проглянет синева,
И песня не кончается.

В припеве
Мы движемся к суровой переправе.
Смеркается. Сквозит, как на плацу.
Взмывают чайки с оголенной суши.
Живая речь уходит в хрипотцу
Грамзаписи. Щенок развесил уши —
His master's voice.

Беда не велика.
Поговорим, покурим, выпьем чаю.
Пора ложиться. Мне, наверняка,
Опять приснится хмурая, большая,
Наверное, великая река.



Чикиликанье галок в осеннем дворе
И трезвон перемены в тринадцатой школе.
Росчерк ТУ-104 на чистой заре
И клеймо на скамье «Хабибулин + Оля».
Если б я был не я, а другой человек,
Я бы там вечерами слонялся донныне.
Все в разъезде. Ремонт. Ожидается снег. —
Вот такое кино мне смотреть на чужбине.
Здесь помойные кошки какую-то дрянь
С вождением делают, такие-сякие.
Вот сейчас он, должно быть, закурит, и впрямь
Не спеша закурил, я курил бы другие.
Хороша наша жизнь — напоит допьяна,
Карамелью снабдит, удивит каруселью,
Шаловлива, глумлива, гневлива, шумна —
Отшумит, не оставив рубля на похмелье...

Если так, перед тем, как уйти под откос,
Пробеги-ка рукой по знакомым октавам,
Наиграй мне по памяти этот наркоз,
Спой дворовую песню с припевом картавым.
Спой, сыграй, расскажи о казенной Москве,
Где пускают метро в половине шестого,
Зачинают детей в госпитальной траве,
Троекратно целуют на Пасху Христову.
Если б я был не я, я бы там произнес
Интересную речь на арене заката.
Вот такое кино мне смотреть на износ
Много лет. Разве это плохая расплата?
Хабибулин выглядывает из окна
Поделиться избыточным опытом, крикнуть —
Спору нет, память мучает, но и она
Умирает — и к этому можно привыкнуть.

Картина мира, милая уму: писатель сочиняет про Муму; шоферы колесят по всей земле со Сталиным на лобовом стекле; любимец телевиденья чабан кастрирует козла во весь экран; агукая, играючи, шутя, мать пестует щекатое дитя. Сдается мне, согражданам не лень усердствовать. В трудах проходит день, а к полночи созреет в аккурат мажорный гимн, как некий виноград.

Бог в помощь всем. Но мой физкультпривет писателю. Писатель (он поэт), несносных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит бледный лес берез, вникая в смысл житейских передряг, причуд, коллизий. Вроде бы пустяк по имени хандра, и во врачах нет надобности, но и в мелочах видна утечка жизни. Невзначай он адрес свой забудет или чай на рукопись прольет, то вообще купает галстук бархатный в борще. Смех да и только. Выпал первый снег. На улице какой-то человек, срывая голос, битых два часа отчитывал нашкодившего пса.

Писатель принимается писать. Давно ль он умудрился променять объем на вакуум, проточный звук на паузу? Жизнь валится из рук безделкою, безделицею в щель, внезапно перейдя в разряд вещей еще душемутительных, уже музейных, как-то: баночка драже с истекшим сроком годности, альбом колониальных марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок...

В романе Достоевского «Игрок» описан странный случай. Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его. Добро бы лишь его, но существо небесное, предмет любви — и та наделала долгов. О, нищета! Спасая положение, наш герой сперва, как Германн, вчуже за игрой в рулетку наблюдал, но вот и он выигрывает сдуру миллион. Итак, женитьба? — Дудки! Грозный пыл объемлет бедолагу. Он забыл про барышню, ему предрешиено в испарине толкаться в казино. Лишения, долги, потом тюрьма. «Ужели я тогда сошел с ума?» — себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович. А на кого пенять?

Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь на эти пять похабных рифм: свекровь, кровь, бровь, морковь и вновы! И вновы поэт включает за

полночь настольный свет, по комнате описывает круг. Тошнехонько и нужен верный друг. Таким была бы проза. Дай-то Бог. На весь поселок брешет кабысдох. Поэт глядит в холодное окно. Гармония, как это ни смешно, вот цель его, точнее, идеал. Что выиграл он, что он проиграл? Но это разве в картах и лото есть выигрыш и проигрыш. Ни то изящные материи, ни се. Скорее розыгрыш. И это все? Еще не все. Ценить свою беду, найти вверху любимую звезду, испарину труда стереть со лба и сообщить кому-то: «Не судьба».



Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести —
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки —
Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
Для чего мне досталась в наследие
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою

На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную тебе?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя.



Д. Пригову

Отечество, предание, героство...
Бывало раньше, мчится скорый поезд —
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна,
А там ведь люди. Входит пионер,
Ступает на участок аварийный,
Снимает красный галстук с тонкой шеи
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

Или другой пример. Несется скорый.
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна.
А там ведь люди. Стрелочник-старик
Выходит на участок аварийный,
Складным ножом себе вскрывает вены,
Горячей кровью тряпку обагрывает
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

А в наше время, если едет поезд,
Исправный путь лежит до горизонта.
Условия на диво, знай, учись
Или работай, или совмещай
Работу с обучением заочным.
Все изменилось. Вырос пионер.
Слегка обрюзг, вполне остепенился,
Начальником стал железнодорожным,
На стрелочника старого орет,
Грозится в ЛТП его упрятать.



Ай да сирень в этом мае! Выпуклокрупные гроздья
Валят плетни в деревьях, а на Бульварном кольце
Тронут лицо в темноте — душмутительный запах.
Сердце рукою сдави, восвояси иди, как слепой.
Здесь на бульварах впервой

повстречался мне голый дошкольник,
Лучник с лукавым лицом; изрядно стреляет малец!
Много воды утекло. Старая только заноза
В мякоти чудом цела. Думаю, это пройдет.
Поутру здесь я сидел нога на ногу гордо у входа
В мрачную пропасть метро с ветвью сирени в руках.
Кольца пускал из ноздрей, пил в час пик газировку,
Улыбнулся и рек согражданам в сердце своем:
«Дурни, куда вы толпой? Олухи, мне девятнадцать.
Сроду нигде не служил, не собираюсь и впредь.
Знаете тайну мою? Моей вы не знаете тайны:
Ночь я провел у Лаисы. Виктор Зоилыч рогат».



А. Магарикю

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,
Со слезою и пеной у рта.
Кострома ли, Великие Луки —
Но в застолье в чести Воркута.
Это песни о том, как по справке
Сын седым воротился домой.
Пил у Нинки и плакал у Клавки —
Ах ты, Господи Боже ты мой!

Наша станция как на ладони.
Шепелявит свое водосток.
О разлуке поют на перроне.
Хулиганов везут на восток.
День-деньской колесят по отчизне
Люди, хлеб, стратегический груз.
Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус.

Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих.
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут, — и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся,
Загremели, баланду внесли, —
От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут, а вдали —
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит.



Устроиться на автобазу
И петь про черный пистолет.
К старухе матери ни разу
Не заглянуть за десять лет.
Проездом из Газлей на юге
С канистры кислого вина
Одной подруге из Калуги
Заделать сдуру пацана.
В рыгаловке рагу по средам,
Горох с треской по четвергам.
Божиться другу за обедом
Впяять завгару по рогам.
Преодолеть попутный гребень
Тридцатилетия. Чем свет,
Возить «налево» лес и щебень
И петь про черный пистолет.
А не обломится халтура —
Уснуть щекою на руле,
Спросонья вспоминая хмуро
Махаловку в Махачкале.

ЭЛЕГИЯ

«Мне холодно. Прозрачная весна...»

О. Мандельштам

Апреля цирковая музыка —
Трамваи, саксофон, вороны —
Накроет кладбище Миусское
Запанибрата с похоронной.
Был или нет я здесь по случаю,
Рифмуя на живую нитку?
И вот доселе сердце мучаю,
Все пригодилось недобитку.
И разом вспомнишь, как там дышится,
Какая слышится там гамма.
И синий с предисловьем Дымшица
Выходит томик Мандельштама.
Как раз и молодость кончается,
Гербарный василек в тетради.
Кто в США, кто в Коми мается,
Как некогда сказал Саади.
А ты живешь свою подробную,
Теряешь совесть, ждешь трамвая
И речи слушаешь надгробные,
Шарф подбородком уминая.
Когда задаром — тем и дорого —
С экзальтированным протестом
Трубит саксофонист из города
Неаполя. Видать, проездом.



Растроганно прислушиваться к лаю,
Чириканию и кваканью, когда
В саду горит прекрасная звезда,
Названия которой я не знаю.
Смотреть, стирая робу, как вода
Наматывает водоросль на сваю,
По отмели рассеивает стаю
Мальков и раздувает невода.
Грядущей жизнью, прошлой, настоящей,
Неярко озарен любой пустык —
Порхающий, желтеющий, журчащий, —
Любую ерунду берешь на веру.
Не надрывай мне сердце, я и так
С годами стал чувствителен не в меру.

СТАНСЫ

Памяти матери

I

Говори. Что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла
Городскою рекою баржа по закатному следу,
Как две трети июня, до двадцать второго числа,
Встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету,
Как дыхание липы сквозит в духоте площадей,
Как со всех четырех сторон света гремело в июле?
А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод — так это тебя обманули.

II

Слышишь: гнилью арбузной пахнул овощной магазин,
За углом в подворотне грохочет порожняя тара,
Ветерок из предместий донес перекличку дрезин,
И архивной листвою покрылся асфальт тротуара.
Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда,
Все расчеты насмарку, поешь на дожде винограда,
Сидя в тихом дворе, и воочью увидишь тогда,
Что приходит на память в горах и расщелинах ада.

III

И иди, куда шел. Но, как в бытность твою по ночам,
И особенно в дождь, будет голою веткой упрямо,
Осязая оконные стекла, программный анчар
Трогать раму, что мыла в согласии с азбукой мама.
И хоть уровень школьных познаний моих невысок,
Вижу как наяву: сверху вниз сквозь отверстие в колбе
С приснопамятным шелестом сыпался мелкий песок.
Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби!

IV

Об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства не тая,
Испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой,
Чтоб прозрачная призрачная распустилась струя
И озоном запахло под жэковской кровлей убогой.
Локтевым электричеством мебель ужалит — и вновь
Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста,
Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
Это гиблое время и Богом забытое место.

V

В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет,
Колобродит по кухне и негде достать пипольфена.
Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет,
Даже если он в траурных черных трусах до колена.
В этом месте, веселье которого есть питание,
За порожнюю тарой выдавшие виды ребята
За Серегу Есенина или Андрюху Шенье
По традиции пропили очередную зарплату.

VI

После смерти я выйду за город, который люблю,
И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи,
Одержимый печалью, в осенний простор протрублю
То, на что не хватило мне слов человеческой речи.
Как баржа уплывала за поздним закатным лучом,
Как скворчало железное время на левом запястье,
Как заветную дверь отпирали английским ключом...
Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью.



Косых Семен. В запое с Первомай.
Сегодня вторник. Он глядит в окно,
Дрожит и щурится, не понимая
Еще темно или уже темно.
Я знаю умонастроенье это
И сам, кружа по комнате тоски,
Цитирую кого-то: «Больше света»,
Со злостью наступая на шнурки.
Когда я первые стихотворенья,
Волнуясь, сочинял свои
И от волнения и неуменья
Все строчки начинал с союза «и»,
Мне не хватило кликов лебединых,
Ребячливости, пороха, огня,
И тетя Муза в крашенных седилах
Сверкнула фиксой, глядя на меня.
И ахнул я: бывают же ошибки!
Влюблен бездельник, но в кого влюблен!
Концерт для струнных, чембало и скрипки,
Увы, не воспоследует, Семен.
И встречный ангел, шедший пустырями,
Отверз мне, варвару, уста,
И — высказался я. Но тем упрямей
Склоняют своенравные лета
К поруганной игре воображенья,
К завещанной насмешке над толпой,
К поэзии, прости за выраженье,
Прочь от суровой прозы.

Но тупой

От опыта паду до анекдота.
Ну скажем так: окончена работа.
Супруг супруге закупил обнов,
Врывается в квартиру, смотрит в оба,
Распахивает дверцы гардероба,
А там — Никулин, Вицин, Моргунов.



Памяти родителей

Сначала мать, отец потом
Вернулись в пятьдесят девятый
И заново вселились в дом,
В котором жили мы когда-то.
Все встало на свои места.
Как папиросный дым в трельяже,
Растаяли неправота,
Разлад, и правота, и даже
Такая молодость моя —
Мы будущего вновь не знаем.
Отныне, мертвая семья,
Твой быт и впрямь неприкасаем.

Они совпали наконец
С моею детскою любовью,
Сначала мать, потом отец,
Они подходят к изголовью
Проститься на ночь и спешат
Из детской в смежную, откуда
Шум голосов, застольный чад,
Звон рюмок, и, конечно, Мюда
О чем-то спорит горячо.
И я еще не вышел ростом,
Чтобы под Мюдин гроб плечо
Подставить наспех в девяностом.

Лги, память, безмятежно лги:
Нет очевидцев, я — последний.
Убавь звучание пурги,
Чтоб вольнодумец малолетний
Мог (любознательный юнец!)
С восторгом слышать через стену,
Как хвалит мыслящий отец
Многopатийную систему.



Вот когда человек средних лет, багровея, шнурки
Наконец-то завяжет и с корточек встанет, помедля,
И пойдет по делам по каким позабыл от тоски
Вообще и конкретной тоски, это — зрелище не для
Слабонервных. А я эту муку люблю, однолюб.
Во дворах воробьев хороня, мы ее предвкушали,
И — пожалуйста. «Стар я, — бормочет, — несчастлив
и глуп.

Вы читали меня в периодике?» Нет, не читали
И читать не намерены. Каждый и сам умудрен
Километрами шизофрении на страшном диване.
Кто избавился, баловень, от роковых шестерен?
(Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе.)

Раз в Тбилиси весной в ореоле своем голубом
Знаменитость, покойная ныне, кумир киноведев,
Приложением к лагерным рассказам вынес альбом —
Фотографии кровосмесителей и людоедов.
На пол наискось выскользнул случаем с пыльных
страниц
Позитив в пол-ладони, окутанный в чудную дымку
Простодушия, что ли, сияния из-под ресниц..
— Мне здесь пять, — брякнул гений. Мы отдали
должное снимку.

Как тебе наше сборище, а, херувим на горшке?
Люб тебе пожилой извращенец, косящийся с первой?
Это было похлеце историй о тухлой кишке
И о взломе мохнатого сейфа. Опять-таки нервы.
В свете вышеизложенного, башковитый тростник,
Вряд ли ты ошарашившь читателя своеобразьем
И премудростью книжною. Что же касается книг,
Человека воде уподобили, пролитой наземь,
Во Второй Книге Царств. Он умрет, как у них
повелось.

Воробьи (да, те самые) сядут знакомцу на плечи.
Если жизнь дар и вправду, о смысле не может
быть речи.

Разговор о Великом Авось.



В Переделкино есть перекресток.
На закате июльского дня
Незадолго до вечной разлуки
Ты в Москву провожала меня.

Проводила и в спину глядела,
Я и сам обернулся не раз.
А когда я свернул к ресторану,
Ты по счастью исчезла из глаз.

Приезжай наконец, электричка!
И уеду — была не была —
В Сан-Франциско, Марсель, Йокогаму,
Чтобы жалость с ума не свела.



Неудачник. Поляк и истерик,
Он проводит бессонную ночь,
Долго бреется, пялится в телик
И насилует школьницу-дочь.
В ванной зеркало и отраженье:
Бледный, длинный, трясущийся, взяв
Дамский бабкин на вооруженье,
Собирается делать пиф-паф.
И — осечка случается в ванной.
А какое-то время спустя,
На артистку в Москву эта Анна
Приезжает учиться, дитя.
Сердцеед желторотый, сжимаю
В кулаке огнестрельный сюрприз.
Это символ? Я так понимаю?
Пять? Зарядов? Вы льстите мне, мисс!
А потом появляется Валя,
Через месяц, как Оля ушла.
А с течением времени Галя,
Обронив десять шпилек, пришла.
Расплевался с единственной Людой
И в кромешный шагнул коридор,
Громыхая пустою посудой.
И ушел, и иду до сих пор.
Много нервов и лунного света,
Вздора юного. Тошно мне, бес.
Любо-дорого в зрелые лета
Злиться, пить, не любить поэтесс.
Подбивает иной Мефистофель,
Озираясь на жизненный путь,
С табурета наглядный картофель
По-чапаевски властно смахнуть.
Где? Когда? Из каких подворотен?
На каком перекрестке любви
Сильным ветром задул страх Господен?
Вон она, твоя шляпа, лови!
У кого это самое больше,
Как бишь там, опереточный пан?
Ангел, Аня, исчадие Польши,

Веселит меня твой талисман.
Я родился в год смерти Лолиты,
И написано мне на роду
Раз в году воскрешать деловито
Наши шалости в адском саду.
«Тусклый огонь», шерстяные рейтузы,
Вечный страх, что без стука войдут...
Так и есть — заявляется Муза,
Эта старая блядь тут как тут.



Скрипит? А ты лоскут газеты
Сложи в старательный квадрат
И приспособь, чтоб дверца эта
Не отворялась невпопад.

Порхает в каменном колодце
Невзрачный городской снежок.
Все вроде бы, но остается
Последний небольшой должок.

Еще осталось человеку
Припомнить все, чего он не,
Дорогой, например, в аптеку
В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликование зла
Без зла, не потому что добрый,
А потому что жизнь прошла.



Еврейским блюдом угощала.
За антикварный стол сажала.
На «вы» из принципа звала.
Стелила спать на раскладушке.
А после все-таки дала,
Как сказано в одной частушке.
В виду имея истеричек,
Я, как Онегин, мог сложить
Петра Великого из спичек
И благосклонность заслужить.

Чу! Гадкий лебедь встрепенулся.
Я первой водкой поперхнулся,
Впервые в рифму заикнулся,
Или поплыть?

Айда. Мы что ли не матросы?!
Вот палуба и папиросы,
Да и попутный поднялся.
Вот Лорелея и Россия,
Вот Лета. Есть еще вопросы?
Но обознатушки какие,
Чур перепрятушки нельзя.

Все громко тикает. Под спичечные марши
 В одежде лечь поверх постельного белья.
 Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше
 И долговечнее тебя, душа моя.
 На стуле в пепельнице теплится окурок,
 И в зимнем сумраке мерцают два ключа.
 Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?
 Жердь, круговерть и твердь — мученье рифмача...
 Нагая женщина тогда встает с постели
 И через голову просторный балахон
 Наденет медленно, и обойдет без цели
 Жилище праздное, где память о плохом
 Или совсем плохом. Перед большой разлукой
 Обычай требует ненадолго присесть,
 Присядет и она, не проронив ни звука.
 Отцы, учителя, вот это — ад и есть!
 В прозрачной темноте пройдет до самой двери,
 С порога бросит взгляд на жалкую кровать,
 И пальцем странный сон на пыльном секретере
 Запишет, уходя, но слов не разобрать.



Стоит одиноко на севере диком
Писатель с обросшею шеей и тиком
Щеки, собирается выть.
Один-одинешенек он на дороге
Выходит, внимают окраины Богу,
Беседуют звезды; кавычки закрыть.



Как ангел, проклятый за сдержанность свою,
Как полдень в сентябре — ни холодно, ни жарко,
Таким я делаюсь, на том почти стою,
И радости не рад, и жалости не жалко.
Еще мерещится заката полоса,
Невыразимая, как и при жизни было,
И двух тургеневских подпасков голоса:
— Да не училище — удилище, мудила! —
Еще — ах, Боже ты мой — тянет острие
Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;
Вершка не дотянул, и ночь берет свое.
Умру — полюбите, а то я вас не знаю...
Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:
Сказать «идите вон», «уважьте», «осчастливьте»?
Но полон дом гостей, на вешалке пальто.
Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.
NN без лифчика и с нею сноб-юнец.
Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.
И птичка, и жучок, и травка, наконец,
Такая трин-трава — и ничего другого.



Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал,
И совершал поступки эти,
Другие, нет, не совершал;
Когда помалкивал и вякал,
Мотал и запасался впрок,
Храбрился, зубоскалил, плакал —
И ничего не уберег;
И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто — ни Кьеркегор, ни Бубер —
Не объяснит мне, для чего,
С какой — не растолкуют — стати,
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...



Есть горожанин на природе.
Он взял неделю за свой счет
И пастерначит в огороде,
И умиротворенья ждет.
Семь дней, прилежнее японца,
Он созерцает листопад,
И блеск дождя, и бледность солнца,
Застыв с лопатой между гряд.

Люблю разуть глаза и плакаты!
Сад в ожидании конца
Стоит в исподнем, бросив в слякоть
Повязку черную с лица.
Слышна дворняжек перепалка.
Ползет букашка по руке.
И не элегия — считалка
Все вертится на языке.
О том, как месяц из тумана
Идет-бредет судить-рядить,
Нож вынимает из кармана
И говорит, кому водить.
Об этом рано говорить.
Об этом говорить не рано.



Найти охотника. Головоломка.
Вся хитрость в том, что ясень или вяз,
Ружье, ягдташ, тирольская шляпенка
Сплошную образуют вязь.

Направь прилежно лампу на рисунок
И угол зренья малость измени,
Чтобы трофеи, ружьецо, подсумок
Внезапно выступили из тени.

Его на миг придумала бумага —
Чуть-чуть безумец, несколько эстет,
Преступник на свободе, симпатяга —
Сходи на нет, теперь сходи на нет!

И вновь рисунок как впервой неясен.
Но было что-то — перестук колес
Из пригорода, вяз, не помню, ясень —
Безмерное, ослепшее от слез,

Блистающее в поселковой луже,
Под стариковский гомон воронья...
И жизнь моя была б ничуть не хуже,
Не будь она моя!



«Пидарасы», — сказал Хрущев.
Был я смолоду не готов
Осознать правоту Хрущева,
Но, дожив до своих годов,
Убедился, честное слово.

Суета сует и обман,
Словом, полный анжамбеман.
Сунь два пальца в рот, сочинитель,
Чтоб остались только азы:
Мойдодыр, «жи-ши» через «и»,
Потому что система — ниппель.

Впору взять и лечь в лазарет,
Где врачует речь логопед.
Вдруг она и срастется в гипсе
Прибаутки, мол, дул в дуду
Хабибулин в х/б б/у —
Всё б/у. Хрущев не ошибся.



«Когда пришлют за мной небесных выводных...»

А. Сопровский

Социализм, Москва, кинотеатр,
Где мы с Сопровским молоды и пьяны.
Свет гаснет, первый хроникальный кадр —
Мажор с экрана.
В Ханое — труд, в Софии — перепляс,
Трус, мор и глад — в Нью-Йорке.
А здесь последний свет погас —
Сопровский, я и «три семерки».

Мы шли на импортный дурман,
Помноженный на русский градус.
Но мой дружок мертвецки пьян —
Ему не в радость.
Огромные закрытые глаза.
Шпана во мраке шутки шутит.
Давай-ка, пробуждайся, спать нельзя —
Смотри, какую невидаль нам крутят:
Слепой играет аккордеонист,
И с пулей в животе походкой шаткой
Выходит, сквернословя, террорист
Во двор, мощный мощною брусчаткой.

Неряха, вундеркинд, гордец,
Исчадь книжной доблести и сплина,
Ты — сеятель причин и следствий жнец,
Но есть и на тебя причина.
Будь начеку, отчисленный студент.
Тебя, мой друг большеголовый,
Берет на карандаш — я думал, мент,
А вышло — ангел участковый.



идет по улице изгой
для пущей важности с серьгой
впустую труженик позора
стоял на перекрестке лет
три цвета есть у светофора
но голубого цвета нет

а я живу себе покуда
художником от слова «худо»
брожу ль туда-сюда при этом
сизжу ль меж юношей с приветом
никак к ней к смерти не привыкнешь
всё над каким-то златом чахнешь
умрешь как миленький не пикнешь
ну разве из приличья ахнешь

умри себе как все ребята
и к восхищению родни
о местонахожденье злата
агонизируя сболтни



Так любить — что в лицо не узнать,
И проснуться от шума трамвая.
Ты жена мне, сестра или мать,
С кем я шел вдоль околицы рая?

Слышишь, ходит по кругу гроза —
Так и надо мне, так мне и надо!
Видишь, вновь закрываю глаза,
Увлекаемый в сторону ада.

Заурядны приметы его:
Есть завод, проходная, Кузьминки,
Шум трамвая, но прежде всего —
По утраченной жизни поминки.

За столом причитанья и смех,
И под утро не в жилу старшому
Всех вести на обоссанный снег
И уже добивать по-простому.

Оставайся со мной до конца,
Улыбнись мне глазами сухими,
Обернись, я не помню лица,
Назови свое прежнее имя.



Баратынский, Вяземский, Фет и проч.
И валяй цитируй, когда не лень.
Смерть, — одни утверждают, — сплошная ночь,
А другие божатся, что Юрьев день.
В настоящее время близка зима.
В новый год плесну себе коньячку.
Пусть я в общем и целом — мешок дерьма,
Мне еще не скучно хватить снежку
Или встретиться с зеркалом: сколько лет,
Сколько зим мы знакомы, питомец муз!
Ну решайся, тебе уже много лет,
А боишься выбрать даже арбуз.
Семь ноль-ноль. Пробуждается в аккурат
Трудодень, человекоконь гужевой.
Каждый сам себе отопри свой ад,
Словно дверцу шкафчика в душевой.



Осенний снег упал в траву,
И старшекласница из Львова
Читала первую строфу
«Шестого чувства» Гумилева.

А там и жизнь почти прошла,
С той ночи, как я отнял руки,
Когда ты с вызовом прочла
Строку о женщине и муке.

Пострел изрядно постарел,
И школьницахватила лиха,
И снег осенний запестрел,
И снова стало тихо-тихо.

С какой целью я живу,
Кому нужны ее печали,
Зачем поэта расстреляли
И первый снег упал в траву?

НА СМЕРТЬ И. Б.

Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была,
А сравнительно недавно своевольно умерла.
Как, наверное, должна скверно тикать тишина,
Если женщине-красавице жизнь стала не мила.
Уроженец здешних мест, средних лет, таков, как есть,
Ради холода спинного навещаю твой подъезд.
Что ли роз на все возьму, на кладбище отвезу,
Уроню, как это водится, нетрезвую слезу...
Я ль не лез в окно к тебе из ревности, по злобѣ
По гремучей водосточной к небу задранной трубе?
Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым —
Четверть века, четверть века зряшным подвигам моим!
Голосом, разрезом глаз с толку сбит в толпе не раз,
Я всегда обозначался, не ошибся лишь сейчас,
Не ослышался — мертва. Пошла кругом голова.
Не любила меня отроду, но ты была жива.

Кто б на ножки поднялся, в дно головкой уперся,
Поднатужился, чтоб разом смерть была, да вышла вся!
Воскресать так воскресать! Встали в рост отец и мать.
Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать.
Мы «андроповки» берем, что-то первая колом —
Комом в горле, слущким слогом да частушечным стихом.
Так от радости пьяны, гибелью опалены,
В черно-белой кинохронике вертаются с войны.
Нарастает стук колес и душа идет вразнос.
На вокзале марш играют — слепнет музыка от слез.
Вот и ты — одна из них. Мельком видишь нас двоих,
Кратко на фиг посылаешь обожателей своих.
Вижу я сквозь толчею тебя прежнюю, ничью,
Уходящую безмолвно прямо в молодость твою.
Ну, иди себе, иди. Всё плохое позади.
И отныне, надо думать, хорошее впереди.
Как в былые времена встань у школьного окна.
Имя, девичью фамилию выговорит тишина.



Г. Чхатишвили

Раб, сын раба, я вырвался из уз,
Я выпал из оцепененья.
И торжествую, зная наизусть
Давно лелеемое приключенье.
Сейчас сорвется тишина на крик —
Такую я задумал шалость.
Смерть в каждом кустике храбрится: чик-чирик —
Но только в радость эта малость.

Разбить бы вдребезги, чтоб набело срослось,
Воздать сторицей, хлопнуть дверью.
Визжи, визжи, расхлябанная ось
Между Аделаидою и Тверью!
Деревня-оползень на правом берегу,
Паром, пичуга в воздухе отпетом —
Всё это, если я смогу,
Сойдется наконец с ответом.

Мирон Пахомыч, к отмели рули,
Наляг, Харон Паромыч, на кормило.
По моему хотенью журавли,
Курлыча, потянулись к дельте Нила.
«Казбечину» с индийской коноплей
Щелчком отбросив, вынуть парабеллум.
Смерть пахнет огородною землей,
А первая любовь — травой и телом.



близнецами считал а когда разузнал у соседки
оказался непарный чудак-человек
он сходил по-большому на лестничной клетке
оба раза при мне и в четверг
мой народ отличает шельмец оргалит от фанеры
или взять чтоб не быть голословным того же меня
я в семью возвращался от друга валеры
в хороводе теней три мучительных дня
и уже не поверят мне на слово добрые люди
что когда-то я был каждой малости рад
в тубетейке со ртом до ушей это я на верблюде
рубль всего а вокруг обольстительный ленинабад
я свой век скоротал как восточную сказку
дромадер алкоголя горячечные миражи
о снимии с меня жено похмельную маску
и бай-бай уложи
пусть я встану чем свет не таким удручающим что ли
как сегодня прилег
разве нас не учили хорошему в школе
где пизда-марь иванна проводила урок
иванов сколько раз повторять не вертись и не висни
на анищенко сел по-людски
все открыли тетради пишем с красной строки
смысл жизни



Мама чашки убирает со стола,
Папа слушает Бетховена с утра,
«Ножи-ножницы», — доносится в окно,
И на улице становится темно.
Раздается ультиматум «марш в кровати!» —
То есть вновь слонов до одури считать,
Или вскидываться за полночь с чужой
Перевернутой от ужаса душой.
Нюра-дурочка, покойница, ко мне
Чего доброго пожалует во сне —
Биографию юннату предсказать
Али «глупости» за фантик показать.

Вздор и глупости! Плательщики-жильцы
При ближайшем рассмотренье — не жильцы.
Досчитали под Бетховена слонов
И уснули, как убитые, без снов.
Что-то клонит и меня к такому сну.
С понедельника жизнь новую начну.
И забуду лад любимого стиха
«Папе сделали ботинки...» — ха-ха-ха.
И умолкнут над промышленной рекой
Звуки музыки нече-лове-ческой.
И потянемся гуськом за тенью тень,
Вспоминая с бодуна воскресный день.



всё разом — вещи в коридоре
отъезд и сборы впопыхах
шесть вялых роз и крематорий
и предсказание в стихах
другие сборы путь неблизок
себя в трюмо а у трюмо
засохший яблока огрызок
се одиночество само
или короткою порою
десятилетие назад
она и он как брат с сестрою
друг другу что-то говорят
обоев клетку голубую
и обязательный хрусталь
семейных праздников любую
подробность каждую деталь
включая освещение комнат
и мебель тумбочку комод
и лыжи за комодом — вспомнит
проснувшийся и вновь заснет

СОДЕРЖАНИЕ

«Опасен майский укус гюрзы...»	5
«Это праздник. Розы в ванной...»	6
«Будет все. Охлажденная долгим трудом...»	8
«Вот наша улица, допустим...»	9
«Дай Бог памяти вспомнить работы мои...»	11
«Еще далёко мне до патриарха...»	13
«Чижиликанье галок в осеннем дворе...»	15
«Картина мира, милая уму...»	16
«Самосуд неожиданной зрелости...»	18
«Отечество, предание, геройство...»	20
«Ай да сирень в этом мае...»	21
«Что-нибудь о тюрьме и разлуке...»	22
«Устроиться на автобазу...»	23
Элегия	24
«Растроганно прислушиваться к лаю...»	25
Стансы	26
«Косых Семен. В запое с Первомая...»	28
«Сначала мать, отец потом...»	29
«Вот когда человек средних лет...»	30
«В Переделкино есть перекресток...»	31
«Неудачник. Поляк и истерик...»	32
«Скрипит? А ты лоскут газеты...»	34
«Еврейским блюдом угощала...»	35
«Все громко тикает. Под спичечные марши...»	36
«Стоит одиноко на севере диком...»	37
«Как ангел, проклятый за сдержанность свою...»	38
«Когда я жил на этом свете...»	39
«Есть горожанин на природе...»	40
«Найти охотника. Головоломка...»	41
«„Пидарасы“, — сказал Хрущев...»	42
«Социализм, Москва, кинотеатр...»	43
«Идет по улице изгой...»	44
«Так любить — что в лицо не узнать...»	45
«Баратынский, Вяземский, Фет и проч....»	46
«Осенний снег упал в траву...»	47
На смерть И. Б.	48
«Раб, сын раба, я вырвался из уз...»	49
«Близнецами считал а когда разузнал у соседки...»	50
«Мама чашки убирает со стола...»	51
«всё разом — вещи в коридоре...»	52

**В серии книг «Зеркало», издаваемых
«Пушкинским фондом», вышли следующие тома:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков

**В серии «Имя собственное»
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

**«Пушкинский фонд» предлагает читателям
также следующие книги:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Еременко.** Горизонтальная страна

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

**Для приобретения указанных книг обращайтесь
в издательство по адресу:**

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

**Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56**

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой
«Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- **В. Салимон.** Невеселое солнце
- **И. Лиснянская.** После всего
- **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- **Н. Кононов.** Лепет
- **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- **С. Гандлевский.** Праздник
- **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- **В. Дроздов.** Стихотворения
- **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- **А. Цветков.** Стихотворения
- **Д. Новиков.** Караоке
- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **Т. Кибиров.** Парафразис
- **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- **В. Салимон.** Красная Москва
- **В. Зельченко.** Войско
- **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- **А. Битов.** В четверг после дождя
- **Л. Лосев.** Послесловие
- **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- **В. Гандельсман.** Долгота дня
- **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- **Т. Кибиров.** Интимная лирика
- **В. Павлова.** Второй язык
- **В. Кривулин.** Купание в иордани
- **М. Ерёмин.** Стихотворения
- **С. Кекова.** Короткие письма
- **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- **Д. Новиков.** Самопал
- **Т. Кибиров.** Нотации
- **В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?
- **С. Гандлевский.** Конспект

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24
факс: (812) 273-52-56

Г 19

Гандлевский С.

Конспект: Стихотворения. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1999. — 56 с.

ISBN 5—89803—032—8

ББК 84. Р7

Гандлевский Сергей Маркович

Конспект

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1999

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071 541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 19.10.2000 г. Формат 60x90^{1/16}. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,5. Заказ № 1133.

multiprint
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
«Полиграфический центр «MULTIPRINT»

190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6. Тел./факс 812 315 33 10

ПУШКИНСКИЙ ФОНД